

Л. ЭЙДЛИН

ЧИТАЯ СТАРЫХ ПОЭТОВ...

Ты на кивере почтенном
Лавры с миртом сочетал;
Я в углу уединенном
Незабудки собирал...

говорит Батюшков в стихотворении «К Петину». И далее в тон предшествующему:

Между тем как ты штыками
Шведов за лес провожал,
Я геройскими руками...
Ужин вам приготовлял.
Счастливы ты, шалун любезный
И в Цитерской стороне:
Я же — всюду бесполезный,
И в любви, и на войне...

Прелестные эти стихи в давнюю пору первых моих работ процитированы были мною для сравнения с параллельными строками в четверостишиях Бо Цзыи (772—846), китайского поэта, жившего за тысячу лет до К. Н. Батюшкова (1787—1855). Но что означает время для истинной поэзии? И хотя Белинский в 1843 году, всего спустя двадцать два года после того как ужасная болезнь прервала творческую деятельность Батюшкова, с сожалением написал, что о нем «большинство знает геперь понаслышке и по воспоминанию», оба они, и китайский и русский поэт, живы для нас на пороге двадцать первого века.

В продолжающихся занятиях китайской классической поэзией я снова пришел к Батюшкову, чтение стихов которого естественно перепелось у меня с восприятием ста-

рых китайских поэтов. Я не удивляюсь этому обстоятельству и даже думаю, что переведенный на китайский язык Батюшков окажется доступен пониманию и восхищению китайца, начитанного в родном ему литературном наследии: поэзия Батюшкова отмечена прямой логической непрерывности, что отличает и китайскую классику.

Можем ли мы точно определить, какое время в жизни и поэзии одного народа соответствует тому или иному времени в историческом развитии другого народа? Мысли выдающихся поэтов выражают склад мышления всего современного им общества. Справедливо утверждение Белинского, что «когда дело идет о таких поэтах и писателях, как Ломоносов, Державин, Фонвизин, Карамзин, Крылов, Жуковский, Батюшков, Грибоедов и в особенности Пушкин и Лермонтов,— то каждая строка, написанная их рукою, принадлежит потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминает собою или черту их времени, или факт о их образе мыслей и характере». Выбор мой не произволен. В великом ряду поэтов допушкинской поры творчество Батюшкова, в котором явственно просматриваются главные, составляющие его элементы, дает наибольшее право да и свободу для сравнений и сопоставлений с китайской классикой таяского и в какой-то мере дотанского периодов. (Конечно, каждое обнаруженное в результате сравнений и сопоставлений сходство непременно предполагает и различия, обусловленные историческими и национальными особенностями сравниваемых произведений и не рассматриваемые специально в данной статье, посвященной вопросу общечеловеческого единства поэзии.)

Батюшков не отделял поэзию от жизни: «Живи как пицешь, и пиши как живешь».



ЭЙДЛИН ЛЕВ ЗАЛМАНОВИЧ (род. в 1910 г.)

Советский литературовед, переводчик; заслуженный деятель науки РСФСР, доктор филологических наук, профессор. Автор книг и статей о китайской литературе, китайском театре и художественном переводе, переводов из китайской и вьетнамской классической и современной поэзии.

Так думали и китайские стихотворцы времен расцвета ныне ставшей классической поэзии. В стихотворении «К друзьям» Батюшков в несколько перефразированном виде относит непосредственно к себе слова эти, сказанные им вообще о поэте в статье «Нечто о поэте и поэзии»: «И жил так точно, как писал...» В поэзии была его жизнь. А значит, и выдумка, бросающаяся в глаза при чтении его стихов, явилась неслучайной частью жизни, которую он жил. Лирика Батюшкова, облаченная в античные одежды, есть правдивое изображение души поэта, которой под стать именно данное одеяние, заимствованное из некогда воспетой другими, древними стихотворцами действительности.

В сей хижине убогой
Стоит перед окном
Стол ветхой и треногой
С изорванным сукном.
В углу, свидетель славы
И суеты мирской,
Висит полужарявый
Меч прадедов тупой:
Здесь книги выписные,
Там жесткая постель —
Все утвари простые,
Все рухляд скудель!
Скудель!.. Но мне дороже,
Чем бархатное ложе
И вазы богачей!..

Здесь, в «Моих пенатах», выдуманная, но и достоверная картина. Батюшков знал греков и римлян и не подозревал о «хижинах» китайских поэтов: о хижине Тао Юаньмина (365—427), поставленной «в самой гуще людских жилищ, или той, где «Простая калитка захопнула целый день», или той, где «За дверь из грубо сколоченных досок И цинь у меня, и для чтения книги». О хижинах Ли Бо, Ду Фу, о зове Бо Цзюйи: «Найдется ли кто смахнуть мне с кровати пыль?» Сколь дорог был бы романтической душе Батюшкова более поздний вьетнамец Чан Няп Тонг (1258—1308), у которого: «Свет лампы при полуоткрытом окне; и тесно в постели от книг. И капли росы на осеннем дворе; и воздух ночной невесом».

Есть необходимость заметить, что китайский поэт если даже и кокетничал иной раз своею «хижиной», то все равно была она всегда или почти всегда такою, как он ее описывал, рядом с ним среди близкой ему природы, от которой он не отрывался ни на день, вне зависимости от того, вершил ли он дела при дворе, управлял ли дальней окраиной или уходил к буддийской обители. Как и китайские поэты, Батюшков в стихах писал свою автобиографию, как и китайские поэты, не заменяя себя тем персонажем, что в нашем литературоведении носит имя «лирического героя», и если автобиография китайского поэта в его творчестве просто поэтизирована, то в стихах Батюшкова она и романтизирована. Разница в этом.

Взгляд Батюшкова на поэзию не расходится с определением, какое дает такому явлению человеческого существования, как поэзия, традиционная китайская мысль, если можно говорить о возможности определения для поэзии. Устами Кантемира в «Вечере у Кантемира» Батюшков утверждает, что «поэзия свойственна всему человечеству: там, где человек дышит воздухом, питается плодами земли, там, где он существует,— там же он наслаждается и чувствует добро или зло, любит и ненавидит, укоряет и лас-

кает, веселится и страдает. Сердце человеческое есть лучший источник поэзии...» Не подобное ли нечто и в «Великом предисловии» к «Шицзину», древней китайской «Книге песен»: «Поэзия — вот то, к чему идут стремления. В сердце — стремление. В словах — поэзия? «Поэзия — сей пламень небесный», по Батюшкову, «менее или более входит в состав души человеческой». А если это так, то не ожидан и вывод о «Речи о влиянии легкой поэзии на язык», что «счастливые произведения творческого ума не принадлежат одному народу исключительного, но делают достоянием всего человечества». Не неожиданна и родственность поэзий, идущих из сердец, разделенных бескрайними просторами земли. Тем легче «делаются» они «достоянием всего человечества». (Мысли Батюшкова здесь несравненно шире кругозора китайских поэтов, знавших одну лишь Поднебесную — свой Китай.)

В поэзии Батюшкова находим мы ряд черт, родственных китайской классической поэзии, и немаловажна среди них та, на которую обращает наше внимание Белинский, говоря, что «определенность и ясность — первые и главные свойства его поэзии». Слово для нашей цели сопоставления сказаны критиком дальнейшие слова о Батюшкове: «Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки».

«Вещность» батюшковской поэзии, незамутненность ее ничем посторонним или даже боковым по отношению к основной теме, по-видимому, является принадлежностью той исторической стадии русской поэзии, на которой утверждался гений Батюшкова и которая — условно, конечно, — может быть сопоставлена с периодом подъема китайской классической поэзии.

«Определенность и ясность» надо назвать первыми свойствами также и китайской классической поэзии. (Следует, правда, оговориться, что это одна ее сторона, сочетающаяся с недосказанностью, когда «строка кончается, а мысль беспредельна» и полная законченность стихотворения находится где-то вне текста. Но не такова ли поэзия вообще?) Как замечает В. М. Алексеев в «Китайской поэзии в образах и характеристиках»: «Китайская поэзия есть тот же документ. Образность может быть точною».

Китайская классическая поэзия пережила несколько периодов могучего цветения, своих «золотых веков». И все-таки главное золото должно принадлежать танскому трюстлетию (618—907). Оно отличается «множественностью» гениальности. Оно еще и еще раз доказывает нам, что нет необходимости отдавать на долю будущего окончательное решение о величии поэта: танские стихотворцы получали свою сохранившуюся и донные репутацию чаще всего при жизни. (А разве ошибся Белинский в установлении того великого ряда русских поэтов и писателей — предшественников его и современников, — в который входит Батюшков и который упомянут был выше?) К танской поэзии примыкает несколько веков дотанской,

Л. ЭЙДЛИН
ЧИТАЯ СТАРЫХ ПОЭТОВ...

«А бедный юноша... погас!» — у Батюшкова в «Последней весне» —

И дружба слез не уронила
На прах любимца своего;
И Делия не посетиле
Пустынный памятник его,
Лишь пастырь, в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Уныло песню возмучал
Молчанье мертвое гробницы.

Лю Юйси (772—842) написал три четверостишия, объединенных названием «Скорблю о Потоке Глудца» и посвященных другу его, безвременному умершему поэту Лю Цзунъюаню, в которых он воссоздает место жизни и смерти поэта. В последнем из них

Ивовый вход с бамбуковым улочки
существует и до сих пор,

Мохом зеленым и дикими травами
растая день ото дня.

Лишь иногда соседу захочется
на свирели здесь поиграть.

Кроме него, из былых товарищей,
кто приходит сюда еще!

У Батюшкова все в возвышенном тоне — дружба вместо друзей, как всегда, некая обобщенная Делия, пастырь, молчанье мертвое гробницы. У Лю Юйси обыденные скорбные подробности в бытовом, житейском плане. Но до удивления о том же и в той же последовательности воображения!

Лаконизм обыденности китайских поэтов, вернее, опозитивирования ими обыденности противостоят многословию романтической приподнятости Батюшкова, но родственность содержания и мысли при сопоставлении китайцев с русским поэтом обнаруживается все более без всякого принуждения. Батюшков пишет стихотворение «На смерть супруги Ф. Ф. Кокوشкина», Бо Цзюйи — «За Сюз Тая скорблю о смерти его жены». Батюшкову нужны инноказания, бог брака Гимен, прелестная Лила, обращение к любви и дружбе, китаец же ограничивается трагизмом простого описания прихода мужа с осиротевшим младенцем в пустой дом, освещенный холодным месяцем. Но и здесь и там стремление утешить своим сочувствием, невозможность равнодушно пройти мимо общечеловеческого несчастья.

Общи и раздумья о судьбе поэта — тема, не однажды затрагиваемая русскими стихотворцами начала XIX века. Ей посвящена элегия Батюшкова «Умирающий Тассо».

Ни слезы дружества, ни иноков мольбы.

Ни почестей столь поздние награды —

Ничто не укротит железных судьбы,

Не знающей к великому пощады.

Сам Тассо у Батюшкова осведомлен о своей «от колыбельных дней» обреченности:

Повсюду — молнии, карающей певца!

Ни в хижине оратая простова,

Ни под защитой Альфонсова двorca,

Ни в тишине безвестнейшего крова,

Ни в дебрях, ни в горах не спас главы

моей,

Бесславием и славой удрученной,

Главы изгнанника, от колыбельных дней

Карающей богине обреченной...

О горькой судьбе «поэтов всех племен» читаем мы у Кюхельбекера; «Не трогайте ее, — заведите сей девичьи!.. Она губительна... Она вам смерть дает!» — восклицает Ростопчина в стихотворении «Нашим будущим поэтам», написанном ею вслед за вестью о гибели Лермонтова. «Потому что

само дарование уже несчастье несет с собой», как говорит и вьетнамец Нгуен Чунг Нган (1289—1370), заключающий этой строкой четверостишие «Думаю о Цзя И». Мысль об обреченности поэта самим талантом его, как видим, всеобща: поэта, носителя правды народной, ничто не могло спасти от «тонений и бед» (Бо Цзюйи) со стороны власть имущих.

У Батюшкова есть примечание к «Умирающему Тассо». В нем он напоминает «о тех обстоятельствах, которые подали мысль к этой Элегии». Он пишет о несчастьях Тассо, о приблизившейся к нему смерти, о том, что «вернейший его приятель Костантини не был при нем», о письме Тассо к другу: «Что скажет мой Костантини, когда узнает о кончине своего милого Торкватто?» Как похожи и настроение и слова на те, что в письмах Бо Цзюйи к своему милому Юань Чжэню, разлука с которым нестерпима!

Батюшков в примечании сообщает о том, что памятник Тассо не был воздвигнут. О месте упокоения поэта возвещает латинская надпись на обыкновенном камне: «Здесь лежат кости Торкватто Тассо». Предрешенность безвременного конца поэта! Беды поэта! Кости поэта! Так и такими словами написана Бо Цзюйи «Могила Ли Бо»:

В Цайши на крутом берегу реки

Ли Бо давно похоронен.

В бескрайних просторах, поля окружив,

созлились с облаками травы.

Как жалы! Под заброшенным этим холмом
в глубинах могильных кости
Когда-то и небо могли устрашить,
и землю встряхнуть стихами...

На свете поэтам предрешено
не знать в своей жизни счастья.

В сравнении даже с бедами их

Ли Бо обойден судьбою.

У Батюшкова есть цикл стихов под названием «Подражания древним». Эти шесть стихотворений носят учительный характер. В них и Немезида, и долина Йемена, и розы, и песни соловья, и амвра, и парус — все тот чужеземный романтический арсенал, который дорог поэту. Но «Подражания древним», пусть в иной, более свободной от явного архаизма форме, начиная с Ян Сюна (53 г. до н. э. — 18) существуют в Китае, и, значит, тяга к древнему как к некоему образцу есть черта и национальная, и общечеловеческая. Я легко представляю себе поэзию Батюшкова соседствующей с поэзией любого содружества китайских поэтов. Его чарка нашла бы свое место среди тех пускаемых по изгибам ручья, как это полагалось при встрече друзей-стихотворцев, и не нарушила бы доверительную их беседу. В метафорическом смысле, конечно.

Таковы некоторые строки китайской поэзии, приходящие на память при чтении Батюшкова. Но отрывочные эти воспоминания влекут к поискам закономерностей сходств поэтической мысли и поэтического воображения.

Поэзия в человечестве рождалась из простых чувств — любви, дружбы, единения с природой. Любовь способна говорить лишь о себе самой — однообразнее в счастье и разнообразнее в страданиях безответности,

разлуки, борьбы. («Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».) Дружба в поэзии намного шире и вместимее любви, которую она непременно какую-то часть содержит в себе. Дружба открывает поэзии путь для мыслей о мире, для столкновения взглядов, для единения в ладах. Другими словами, она дарит поэзии мысль, без чего поэзия существовать не может. Чувство дружбы — одно из самых возвышенных человеческих чувств — в определенный период развития национальной поэзии занимает в ней доминирующее место. Различные частные причины этого явления в разных литературах, но ни одна мировая литература не миновала его.

У Пушкина в стихотворении «19 октября»:

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгуя запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.

«Печален я: со мною друга нет» легко укладывается в строку китайского стихотворения по одному даже синтаксису своему. И как антитеза — из Гао Ши (700—765): «Ты не печалься, что в дальний путь не едет с тобою друг...» И пожимающая руку друга рука, о которой мы у Батюшкова читали в «Тени друга»:

О! Молви слово мне! Пускай знакомый звук
Еще мой жадный слух ласкает,
Пускай рука моя, о забывенный друг!
Твою — с любовью сжимает...

Рука, о которой мы у Тао Юаньмина читали в стихотворении «Печалюсь о моем двоюродном брате Чжундэ»:

Когда я, прощаясь,
в руке держал твою руку,
Я мог ли подумать,
что первым исчезнешь ты!

Сжимающая руку друга рука, о которой написал Бо Цзюй в стихотворении, посвященном Юань Чжэню:

С приходом рассвета
во сне я увидел Юаня.
Он тоже, конечно,
не мог обо мне не подумать.

В моем сновиденье
я крепко сжал руку Юаню.
Спросил у Юаня:
«Скажи мне, о чем твои мысли?»

Дружба не беспринципная (как мы бы теперь сказали) не слепая (какой может быть любовь), а дружба людей, единых по устремлению мысли, людей одного сердца — только так понимали чувство дружбы, отдавая ему свою поэзию. китайские стихотворцы, чье ясное осознание существа дружбы можем мы увидеть хотя бы на примере стихотворного ответа Тао Юаньмина цаньцзюню Пану:

Что мнится иному
сокровищем дивным,
Порою для нас
вовсе не драгоценность.

И если мы с кем-то
не равных стремлений,
Способны ли с ним
быть мы родственно близки?

Я в жизни искал
задушевного друга
И вправду же встретил
того, кто мне дорог!

Для нас остается бесспорным наблюдение В. М. Алексеева в статье «Китайская литература и ее читатель»: «В самом деле, можно без большого преувеличения назвать китайскую классическую поэзию поэзией дружбы двух созвучных умов, взаимная привязанность которых не что иное, как очень внимательное и глубокое взаимное проникновение».

Батюшков был поэтом того времени, когда русская поэзия уже зазвучала во всю силу, но принадлежала еще достаточно узкому кругу. А отсюда и превалярующая тема дружества, стихи с посвящениями друзьям-поэтам. Дружба в стихах Батюшкова переплетена с темой любви, и если подлинный предмет любви ускользает от нас, окутанный античными и придуманными названиями, то дружба реальна и конкретна — со всеми именами и фамилиями друзей-поэтов. В статье о погибшем на войне Петине дана Батюшковым оценка чувству дружбы: «Я видел сию могилу, из свежей земли насыпанную; я стоял на ней в глубокой горести и облегчил сердце мое слезами. В ней скрыто было навеки лучшее сокровище моей жизни — дружество». В «Странствователе и домоседе»: «Пред дружбой ничего и Гиппократ с искусством!» В «Дружестве»:

Блажен, кто друга здесь по сердцу обретает,
Кто любит и любим чувствительной душой!

А затем примеры из античности — верности в дружбе, всегдашней готовности умереть за друга. (У Тао Юаньмина в стихотворении «Воспеваю Цзинкэ»: «Человек благородный не колеблясь, умрет за друга».)

Стихотворную часть «Опытов в стихах и прозе» Батюшкова издатель начинает с написанного поэтом в 1815 году стихотворения «К друзьям», в котором Батюшков, если угодно, подтверждает высказанную выше автором настоящей статьи мысль о многосторонности темы дружбы в поэзии.

Вот список мой стихов,
Который дружеству быть может драгоценен.

Я добрым гением уверен,
Что в сем дедале рифм и слов
Недостает искусства:
Но дружество найдет мои, взамену, чувства.

Историю моих страстей,
Ума и сердца заблужденья;
Заботы, суеты, печали прежних дней,
И легкокрылы наслажденья;
Как в жизни падал, как вставал;
Как вовсе умираю для света;
Как снова мой челнок фортуны поверял...
И, словом, весь журнал
Здесь дружество найдет беспечного поэта...

«Весь журнал» дружества находим мы в свою очередь и у китайских поэтов. Китайцы предмет своей любви отстраняют от поэзии дружбы, Батюшков же соединяет его с дружбой («Богинею слепою Забыт я от пелен, Но дружбой и тобою С изблгком награжден!»), но и для него, как мы уже знаем, «лучшее сокровище» жизни — дружество, и «светлый ум», который «сретает хоры муз», дороже «страстей волненья». Друг и беседа, друг и уединение, друг и родной край, друг и разлука и встречи — вот главные темы «поэзии святой» и у Батюшкова и у китайцев. Знакомая нам хижина сопровождает и эту и ту поэзию. Для китаица —

как некоторое отражение действительной жизни, для Батюшкова — как необходимый реquisite жизни поэтической.

С десятилетиями и веками ширится круг тем поэзии, усложняется взгляд человека на изменяющийся мир. В своем развитии лирическая поэзия все более становится не рассудительной, не чувственной, а сюжетной, и мы не можем сразу выделить тему друга, так прямо обнаруживающую себя на ранних этапах. Она уходит вглубь на глазах наблюдателя истории поэзии, и у Мэн Хаожаня (689—740) она явственнее, чем у Бо Цзюйи (на протяжении полутора веков), а у Батюшкова намного явственнее, чем у Пушкина (на протяжении десятилетий).

Что такое друг? Китайцы ответили на этот вопрос, называя другом того, кто «знает сердце», «знает меня», «знает тон», то есть ценит напев (мой напев). Это все синонимы друга. И они, безотносительно к не существовавшей для Батюшкова китайской поэзии, известны и ему. Разве не о нем, не о таком друге тоскует он и в стихах, и в прозаическом выступлении, названном «Не-что о поэте и поэзии»? «Где сыскать сердце, готовое разделить с нами все чувства и ощущения наши? Нет его с нами — и мы прибегаем к искусству выражать мысли свои в сладостной надежде, что есть на земле сердца добрые, умы образованные, для которых сильное и благородное чувство, счастливое выражение, прекрасный стих и страница живой, красноречивой прозы — суть сокровища истинные...»

Как не взволноваться тем, что и для Пушкина «знание сердца» есть признак подлинной дружбы. «Ты сердце знало мое во цвете юных дней...» — говорит он в написанном в 1821 году стихотворении «Чаадаеву».

И разве не о нем, не о таком друге и не в таких выражениях тоскует Мэн Хаожань в стихотворении «Летом, в южной беседе думаю о Сине старшем»?

Невольно захочешь
по струнам циня ударить.
Печально, что нет здесь
того, кто напев оценит.

При чувствах подобных
о друге старинном думаю.
А полночь приходит —
и он в моих сновиденьях.

Или в стихотворении «На прощанье с Ван Взем»?

И в этой дороге
кто станет мне доброй опорой?
Ценители чувства
встречаются в мире так редко...

Друг по сердцу дороже родного по крови. В этом пафос поэзии Батюшкова («миалый брат» — говорит он о Петине), так понимать надо строки Мэн Хаожаня в «Моих чувствах в последнюю ночь года».

Отдвигается вдали
кость от кости, от плоти плоть,
И на месте родных
верный спутник — мальчик-слуга.

Тема дружбы всеобъемлюща: в ней и родина и чужбина, в ней и скоротечность человеческой жизни... В «Пленном» Батюшкова пленный о родине поет там,

В местах, где Рона протекает
По бархатным лугам,
Где мирт душистый расцветает,
Склонясь к ее водам,

Где на горах роскошно зреет
Янтарный виноград,
Златый лимон на солнце рдеет,
И яворы шумят...

Но при всех этих и других непроцитированных здесь «преlestях» и несмотря на них

Какие радости в чужбине?
Они в родных краях;
Они цветут в моей пустыне
И в дебрях и в снегах.

Пустыня отчизны, и дебри, и снега ее дорожке бархатных лугов и душистых миртов насильно навязанной чужбины. Не то же ли самое чувство, не та же ли мысль в четверостишии «Домой», написанном в Китае знакомым нам вьетнамским поэтом Нгуен Чунг Нганом?

Осыпаются листья старого тута,
шелкопряды уже исчезли.

И душисто цветенье раннего риса,
и жиреть начинают крабы.

Говорят, что когда вы в родимом доме,
хороша в нем даже и бедность,

И хотя очень радостна жизнь в Цзяннани,
мне скорей бы домой вернуться!

Понятие родины у Батюшкова порою сужается до родимой стороны, до отчего дома, как в «Послании И. М. Муравьеву-Апостола»:

В Пальмире Севера, в жилище шумной
славы,
Державин камские воспоминал дубравы,
Отчизны сладкий дым и древний град
отцов...

Именно в таком понимании часто встречается родина у дальневосточных поэтов.

Включенная в творчестве Батюшкова в тему дружбы скоротечность жизни («Жизнь — миг! Не долго веселиться, Не долго нам и в счастье жить!» — в «Совете друзьям»), зависящая от бега времени (там же — «И время сильною рукой Губит и радость и покой!»), поразительно напоминает многократно трактуемую в китайской поэзии связь времени с пребыванием человека в мире (у Тао Юаньмина в стихотворении «Вторю стихам чайсанского Лю» — «Время промчится, и через одно столетье Тело и имя — в тени сокроются оба!»).

В «Моих пенатах» Батюшков зовет друга к соревнованию с губительным временем и с самою смертью:

Пока бежит за нами
Бог времени седой
И губит луг с цветами
Безжалостной косой,
Мой друг! Скорей за счастьем
В путь жизни полетим;
Упьемся сладострастьем
И смерть опередим;
Сорвем цветы украдкой
Под лезвием косы
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы!

Этого же по существу хочет китаец — покойнес, без наречения времени богом, без сравнения жизни с цветущим лугом, без откровенного упоения сладострастьем (хотя у Батюшкова оно в более широком, нежели нынешнее, понимании), но того же. И та же

Л. Э И Д Л И Н
ЧИТАЯ СТАРЫХ ПОЭТОВ...

